

Культура.
1999. - 4-10
нояб. - с. 9

Страх перед равниной

К 75-летию Леонида Зорина

Штурмовал горы из страха
перед равниной.
Л.Зорин. Из "Зеленых
тетрадей".

К 75-летию Леонид Зорин окончательно выломился, наконец, из ампулы драматурга (успешность которого при Советской власти до сих пор не могут забыть ему "шипящие" литературные критики).

Да можно же понять молоденького бакинца, завоевавшего когда-то московскую сцену! Полсотни пьес, фейерверочный успех, столичные афиши... Дело было в темпераменте — много лет понадобилось, чтобы понять, как обманчив театр и насколько суровая проза надежнее.

"Старая рукопись" вывела Зорина в ряды признанных прозаиков. "Авансцена" — на уровень мемуаристов, чей опыт претендует стать "исповедью сына века". "Зеленые тетради" — на усыпанное "опавшими листьями" экзистенциальное поле, с Запада засеянное Бирсом и Лецем, а с нашего края — Вяземским и Розановым. Наверное, пьесы Зорина будут идти на подмостках XXI века, но, я думаю, его все больше будут читать, и именно — начиная с "Зеленых тетрадей".

Первая же запись, датированная 1953 годом, озаглавлена:

Маленький человек: "Меня нельзя убивать!" Увы, доказано, что убивать его можно. Наверное, докажут и то, что нужно. Одно утешение: нельзя искоренить вовсе...

Ирония тут — во спасение. Но сам этот интерес к маленькому, рядовому, беззащитному надо как-то совместить с душой, изначально хвавшей пьянящего воздуха вершин. Начало-то какое звонкое, какое раннее! В неполных десять лет — первая стихотворная книжка! А пишет — с четверех. Самед Вургун Егише Чаренцу представляет юное дарование. В Москву везут — к самому Горькому, и тот на всю жизнь впечатляет — клеймо вундеркинда. Чудо!

Но чудо в другом. Чудо — что вместо опынения успехом крепнувший ум начинает чувствовать в этом раннем взлете смертельную опасность. Ум и спасает — страшной ценой саморефлексии, осаждающей душу в трезвость. Через всю жизнь (то есть через все "Зеленые тетради", непрерывно писавшиеся для себя) лейтмотивом — страх самообольщения. У великих высмотрено именно это. Все испытывают один жгучий стыд за эрудицию, за утонченность, за труд души и работу духа. Паскаль говорит: "Я нена-



вижу свое "я". Де Голль завещает: "Без фанфар! Без музыки! Без колокольного звона!". Толстой самоубийством пытается изжить ненавистный грех тщеславия. Блок заискивает перед Ключевым: стыдится, что он "барин", а тот "мужик". Маяковский и Олеша соревнуются в зависти к оптимизму среднестатистической единицы... "Быть, как все!" Пастернак и Ахматова переключаются на призывы: как бы это не быть "знаменитым", "отдать другим игрушку мира — славу". Через прозу Зорина проходит нервный шок интеллигента, чувствующего предательское клеймо выделенности на своем лбу.

Натянут сюжет звенящей струной над пропастью, в которую рухнула ненавистная Советская "империя" (про ненависть к ее предшественнице, туда же рухнувшей, уже несколько позабыли). На одном берегу — тайная правда "рядового" человека, презираемого надутыми дураками. На другом — кричащая правда того же "рядового" человека, дорвавшегося до демократии.

Я смотрел на него с тихим ужасом, понимая, как далеко он пойдёт. Маленький... глаза пылают огнем безумия.

И он пошел — тот самый, обыкновенный, маленький, рядовой, которого умники грозились убить, — далеко пошел.

Нет, революция не была навязана народным массам несколькими сумасшедшими книжниками, как принято нынче себя успокаивать. Она была лишь катализирована.

Революция — безумие. А чем успокоить себя — при свободных, мирных, разумных демократических выборах?

Избранник может быть случайным лицом, население быть случайным не может.

"Сотри случайные черты" — и ты увидишь... совсем не то, что Блок, как все полукровки, рвавшийся в массу (на счет полукровки — точный зоринский штрих).

Первые откровения из изданных теперь "Зеленых тетрадей" написаны под непроницаемой крышей партийной империи, придавившей все: и безумие одержимых книжников, и здравомыслие нормальных невежд, сбегающих в ряды.

Последние записи — в ситуации, когда крыша сорвана и естество обнажилось.

Масса — это гремучая смесь демократического облика и тоталитарного естества.

Против естества не попрешь. Что делать? Можно по-китайски сидеть на горе и созерцать равнину, где сталкиваются естественные, то есть нормально дикие силы. А можно — по-русски: на горе мучиться от разреженного воздуха, на равнине — от смрада.

Леонид Зорин не избирал русского пути — он был им отравлен изначально. Избирал он другое: блеск представления, яд триумфа, хмель общения. Потом вымаливал себе обратное: тишь укрома, горечь разума, боль смысла в ликующей бессмыслице естества. Русский склад его рефлексии — в изнеможении духа перед миром. Хотя укрепляет себя дух — всеми возможными вехами мировой истории и константами мировой культуры.

Русский интеллигент — меж аллоломом и стадностью. Он не на равнине и не на горе. Он посередине. Как Сизиф. Только не булыжник тащит, а неуловимую и непосильную тяжесть Смысла.

Тяжесть эту прежде всего и ощущаешь, читая Зорина и думая о том, что он вынес из семидесяти пяти лет своей яркой жизни.

Лев АННИНСКИЙ